## Давайте не будем

Айзек Азимов

Перевод И. Гуровой

Профессор Чарлз Киттредж бежал размашисто, неуверенно вскидывая ноги, и успел отшвырнуть стакан, который младший профессор Хебер Вандермир уже поднес к губам. Все произошло словно запечатленное замедленной съемкой.

Вид у Вандермира, не слышавшего, как подбегал Киттредж, — настолько поглощали его собственные мысли, был теперь и растерянный и пристыженный. Он опустил глаза на осколки стакана в расползающейся лужице.

— Что это?

— Цианистый калий. Я сохранил кусочек, когда мы собирались… просто на случай…

— И чем бы это помогло? Ну вот, одним стаканом меньше. И придется убирать осколки… Нет, этим займусь я.

Киттредж нашел бесценный кусок картона, чтобы сгрести осколки, и еще более драгоценную тряпочку, чтобы вытереть ядовитую жидкость. А потом вышел — надо было выбросить осколки, а также (какая жалость!) картонку и тряпочку в один из трубопроводов, который извергнет их на поверхность.

Когда он вернулся, Вандермир сидел на койке, вперив в стену остекленевший взгляд. Волосы физика совсем поседели, и, естественно, он исхудал. В Убежище толстяков не было. Киттредж — с самого начала долговязый, тощий и седой — по контрасту почти совсем не изменился.

— Помните былые дни, Китт? — пробормотал Вандермир.

— Стараюсь не вспоминать.

— Единственная остающаяся нам радость. Университеты были университетами. Занятия, оборудование, студенты, воздух, свет и люди… Люди!

— Учебное заведение остается учебным заведением, пока есть хотя бы один учитель и один ученик.

— Вы почти правы, — тоскливо отозвался Вандермир. — Учителей есть даже двое. Вы — химик, я — физик. Нас двое. Остальное мы можем почерпнуть из книг. И один аспирант. Он будет первым, кто получит докторскую степень здесь внизу. Такая честь! Бедняга Джонс.

Киттредж заложил руки за спину, чтобы они не дрожали.

— И двадцать мальчиков и девочек, которые тоже со временем получат дипломы.

Вандермир поднял голову. Лицо у него стало совсем серым.

— А чему нам их учить пока? Истории? О том, как человек обнаружил, что заставляет водород делать бум-бум? И радовался, как беззаботная птичка, пока один бум-бум следовал за другим?.. Географии? Мы можем описать, как ветры повсюду рассеивали сверкающую пыль, а водяные потоки уносили растворившиеся изотопы по глубинам и мелям океана.

Киттредж и Вандермир были единственными учеными, кому удалось спастись. Ответственность за существование сотни мужчин, женщин и детей лежала на них, пока они прятались тут от опасностей и трудностей поверхности, от ужаса, сотворенного Человеком — тут, в этом пузырьке жизни в полумиле под поверхностью планеты.

С упорством отчаяния Киттредж попытался вдохнуть мужество в Вандермира:

— Вы знаете, чему мы должны их учить. Мы должны сохранить науку живой, чтобы когда-нибудь нам удалось вновь населить Землю. Начать заново.

Вандермир не ответил, он отвернулся к стене. Киттредж продолжал:

— Почему же нет? Даже радиоактивность не вечна. Пусть потребуется тысяча лет… пять тысяч! Когда-нибудь уровень радиации на поверхности Земли снизится до терпимого.

— Когда-нибудь.

— Ну да, когда-нибудь. Неужели вы не понимаете, что наша школа здесь — самая важная школа в истории человечества? Если мы добьемся своего, вы и я, наши потомки вновь обретут открытое небо и свободно текущую воду.

— У них даже будут, — Киттредж криво улыбнулся, — университеты, такие, которые помним мы.

— Я ничему этому не верю, — пробормотал Вандермир. — Вначале, когда все казалось предпочтительнее смерти, я бы поверил во что угодно. Но теперь это бессмысленно, и только. Ну хорошо, мы научим их всему, что знаем сами, здесь внизу… а потом умрем — здесь внизу.

— Вскоре вместе с нами начнет учить и Джонс, затем вырастут и другие. Дети, уже почти не помнящие прошлого, станут учителями, а потом начнут учить и те, кто родился здесь. Это станет решающим моментом. Едва все перейдет в руки здешних уроженцев, никакие воспоминания не будут подрывать их стойкости духа. Это будет их жизнь, и у них будет цель, к которой надо будет стремиться, ради которой надо будет бороться… целый мир, который необходимо вновь обрести. При условии, Ван, при условии, что мы сохраним физику как науку на университетском уровне. Вы ведь понимаете почему, правда?

— Конечно, понимаю, — ответил Вандермир с раздражением, — но отсюда не следует, что это осуществимо.

— Сдаться — значит сделать это заведомо неосуществимым. Заведомо.

— Ну хорошо, я попробую, — прошептал Вандермир. Киттредж лег на собственную койку, закрыл глаза и с отчаянием пожалел, что не стоит сейчас в защитном скафандре на поверхности планеты. Хотя бы на минуту там оказаться. Хотя бы на минуту. Он встал бы возле каркаса демонтированного корабля — беспощадно выпотрошенного ради создания пузырька жизни здесь внизу. И тогда сразу после захода солнца он укрепил бы свое мужество, поглядев в небо и увидев еще раз, еще один раз мерцающую в разреженной холодной атмосфере Марса яркую мертвую вечернюю звезду, которая была Землей.

Кое-кто обвиняет меня в том, что я «накручиваю километраж», то есть пишу чересчур длинно. Делаю я это вовсе не сознательно, но не могу не признать, что километраж накапливается. Это случалось даже в такие давние годы, как 1954-й.

Я написал «Давайте не будем» для моего факультета, и, разумеется, мне за него ничего не заплатили. Однако вскоре Мартин Гринберг из «Гноум-Пресс» попросил меня сделать вступление к новой задуманной им антологии «Все о будущем», которая должна была выйти в свет в 1955 году.

Я не хотел ему отказывать, потому что Мартин Гринберг человек симпатичный, хотя по гонорарам сильно отставал от эпохи. С другой стороны, у меня не было особого желания одаривать его новым материалом, а потому я пошел на компромисс.

— Может, взамен небольшой рассказик? — сказал я и предложил ему «Давайте не будем».

И Мартин использовал его как одно из вступлений (другое, более ортодоксальное, написал Роберт А. Хайнлайн) и — чудо из чудес! — заплатил мне десять долларов.

В том же самом году меня подстерег еще один поворотный пункт. (Странно, сколько поворотных пунктов набирается в твоей жизни и как трудно их распознавать в тот момент!) Со времени моей докторской диссертации я пописывал и чисто научную литературу. Например, статьи, касавшиеся моих исследований. Правда, их было мало, так как я очень скоро обнаружил, что исследователь-фанатик из меня не получится. Да и писать статьи было тяжким трудом, поскольку научная литература до отвращения стилизована и в ней особенно ценится скверный язык.

Возиться с учебником было интереснее, однако меня стесняли и связывали два моих соавтора — оба чудесные люди, но вот стиль и того и другого сильно отличается от моего. Такое положение возбудило у меня желание написать собственную книгу по биохимии — не для студентов, а для широкой публики. Мне это представлялось чистой мечтой, так как я в сущности не мог заглянуть за пределы собственной научной фантастики.

Однако мой соавтор Билл Бойд написал научно-популярную книгу о генетике «Генетика и человеческие расы» («Литтл-Браун», 1950), а в 1953 году приехал из Нью-Йорка некто Генри Шуман, владелец небольшого издательства, носившею его фамилию. Он попытался убедить Билла написать книгу для него; Билл был занят, но по доброте душевной попытался обойтись с мистером Шуманом помягче и познакомил его со мной, указав, что книгу могу написать и я.

Конечно, я согласился и тут же написал. Когда подошел срок издания, Генри Шуман продал свою фирму другой небольшой фирме, «Абеляру». И моя книга вышла как «Химия жизни» («Абеляр-Шуман», 1954).

Это была первая моя не научно-фантастическая книга, которая появилась только под моей фамилией без соавторов, и моя первая научно-популярная книга.

Более того: выяснилось, что писать такие книги очень легко — гораздо легче научной фантастики. Мне потребовалось на книгу десять недель, причем в день я тратил на нее не больше часа-двух, и было это величайшим удовольствием. Я тут же начал обдумывать другие научно-популярные книги, какие мог бы написать, и так началось то, что составило часть моей жизни, хотя тогда мне это и в голову не приходило.

И еще в том же году выяснилось, что скоро у нас появится очередной отпрыск, что опять застало нас врасплох и создало серьезную проблему.

Когда мы только переехали в нашу уолтемскую квартиру весной 1951 года, нас было двое. Мы спали в одной спальне, а другая служила кабинетом. В этой второй спальне был написан роман «Космические течения» («Даблдэй», 1952).

После рождения Дэвида, когда он настолько подрос, что ему понадобилась собственная комната, он получил вторую спальню, а мой кабинет перекочевал в нашу, и там-то были написаны «Стальные пещеры» («Даблдэй», 1953).

Затем 19 февраля 1955 года родилась моя дочь Робин Джоан, и я еще заранее перебрался в коридор. Другого места для меня не оставалось. Четвертый мой роман про Лаки Старра был начат как раз в тот день, когда ее привезли домой из клиники: «Лаки Старр и большое солнце Меркурия» («Даблдэй», 1956). Он посвящен «Робин Джоан, которая сделала все от нее зависящее, чтобы помешать».

А мешала она очень компетентно. С ребенком в каждой спальне и со мной в коридоре обстановка была достаточно скверной, но вскоре Робин Джоан должна была неминуемо потребоваться собственная комната, а потому мы решили заняться поисками дома.

Для меня это явилось тяжелой травмой. Я никогда еще не жил в своем доме. Все тридцать пять лет моей жизни прошли в разных квартирах. Однако оставалось смириться с необходимостью. В январе 1956 года мы нашли дом в Ньютоне (штат Массачусетс) чуть западнее Бостона и 12 марта 1956 года въехали туда.

А 16 марта 1956 года на Бостон обрушился один из худших буранов на памяти старожилов. Выпало три фута снега. Мне никогда еще не доводилось разгребать снег, а тут требовалось проложить глубокую и широкую траншею по подъездной дороге. И только-только я успел кое-как справиться с этой задачей, как 20 марта разразился новый буран и выпало еще четыре фута снега.

Наваленный у стен снег, начав таять, просочился за обшивку в подвал, где мы обнаружили небольшое наводнение… Господи, как мы жалели, что живем не в уютной квартирке!

Но мы выжили — и тут возникла куда более серьезная тревога. Во всяком случае для меня. Двое детей, дом, закладная настолько изменили мою жизнь, что меня начали мучить сомнения, а сумею ли я еще написать хоть что-нибудь. (Мой роман «Обнаженное солнце» («Даблдэй», 1957) был закончен за два дня до переезда.) Понимаете, возникает такое чувство, что писатель — это нежный росток, который необходимо лелеять, не то он засохнет, и любая резкая перемена в образе жизни вызывает ощущение, что все твои цветки оборваны.

Бураны, разгребание снега, выкачивание воды из подвала, то да се — и я действительно некоторое время ничего не писал. А затем Боб Леман попросил у меня рассказ для «Фьючер», и в июне 1965 года я впервые сел писать в новом доме. Стояла сильная жара, но в подвале было прохладно, и я водворил туда мою пишущую машинку и наслаждался прохладой в жару — редчайшее удовольствие.

Тревога оказалась напрасной: я не утратил способности писать. Я сочинил «По-своему исследователь», и рассказ вышел в № 30 «Фьючер». (В то время журнал выходил так нерегулярно, что издатель предпочитал не помечать номера названиями месяцев.)